**Языковая картина мира**

Богатырева И.И.

В современной научной литературе, помимо термина языковая картина мира, можно встретить также словосочетания картина мира, научная и наивная картина мира. Попробуем кратко определить, что за ними стоит и в чем специфика каждого из этих понятий.

Картина мира – это определенная система представлений об окружающей нас действительности. Данное понятие впервые было употреблено известным австрийским философом Людвигом Витгенштейном (1889-1951) в его знаменитом «Логико-философском трактате» (труд был написан в 1916-1918 гг. и опубликован в Германии в 1921 г.). По мнению Л.Витгенштейна, мир вокруг нас – это совокупность фактов, а не вещей, и определяется он исключительно фактами. Человеческое сознание создает для себя образы фактов, которые являют собой определенную модель действительности. Эта модель, или картина фактов, воспроизводит структуру действительности в целом или структуру её отдельных компонентов (в частности, пространственных, цветовых и др.).

В современном понимании картина мира – это своего рода портрет мироздания, это некая копия Вселенной, которая предполагает описание того, как устроен мир, какими законами он управляется, что лежит в его основе и как он развивается, как выглядят пространство и время, как взаимодействуют между собой различные объекты, какое место занимает человек в этом мире и т.п. Наиболее полное представление о мире дает его научная картина, которая опирается на важнейшие научные достижения и упорядочивает наши знания о различных свойствах и закономерностях бытия. Можно сказать, что это своеобразная форма систематизации знаний, это целостная и одновременно сложная структура, в которую может быть включена как общенаучная картина мира, так и картины мира отдельных частных наук, которые в свою очередь могут опираться на целый ряд различных концепций, причем концепций, постоянно обновляющихся и видоизменяющихся. Научная картина мира существенно отличается от религиозных концепций мироздания: в основе научной картины лежит эксперимент, благодаря которому можно подтвердить или опровергнуть достоверность тех или иных суждений; а в основе религиозной картины лежит вера (в священные тексты, в слова пророков и т.п.).

Наивная картина мира отражает материальный и духовный опыт какого-либо народа, говорящего на том или ином языке, она может довольно существенно отличаться от научной картины, которая никоим образом не зависит от языка и может быть общей для разных народов. Наивная картина формируется под влиянием культурных ценностей и традиций той или иной нации, актуальных в определенную историческую эпоху и находит свое отражение, прежде всего, в языке – в его словах и формах. Используя в речи слова, несущие в своих значениях те или иные смыслы, носитель определенного языка, не осознавая, принимает и разделяет определенный взгляд на мир.

Так, например, для русского человека очевидно, что его интеллектуальная жизнь связана с головой, а эмоциональная — с сердцем: запоминая что-то, мы храним это в голове; голова не может быть доброй, золотой или каменной, а сердце – умным или светлым (в русском языке всё наоборот); голова не болит за кого-то и ею мы не чувствуем – на это способно только сердце (оно болит, ноет, чует, щемит, в нём может зарождаться надежда и т.п.). «Голова позволяет человеку здраво рассуждать; про человека, наделенного такой способностью, говорят ясная (светлая) голова, а о том, кто лишен такой способности, – что он без царя в голове, что у него ветер в голове, каша в голове или что он вовсе без головы на плечах. Правда, и у человека с головой может голова пойти кругом (напр., если ему кто-то вскружит голову); он может даже совсем потерять голову, особенно часто это происходит с влюбленными, у которых главным управляющим органом становится сердце, а не голова. <…> Голова является и органом памяти (ср. такие выражения, как держать в голове, вылетело из головы, выкинуть из головы и т.п.). В этом отношении русская языковая модель человека отличается от архаичной западноевропейской модели, в которой органом памяти было скорее сердце (следы этого сохранились в таких выражениях, как английское learn by heart или французское savoir par coeur), и сближается с немецкой моделью (ср. aus dem Kopf). Правда, и в русском возможна память сердца, но это говорят только об эмоциональной, но не интеллектуальной памяти. Если выкинуть (выбросить) из головы значит ‘забыть’ или ‘перестать думать’ о ком-либо или о чем-либо, то вырвать из сердца (кого-либо) не значит ‘забыть’, а значит ‘разлюбить’ (или ‘сделать попытку разлюбить’), ср. поговорку С глаз долой – из сердца вон.» .

Тем не менее, такая наивная картина мира, где внутренняя жизнь человека локализована в голове (разум, интеллект) и в сердце (чувства и эмоции), вовсе не универсальна. Так, в языке аборигенов острова Ифалук (одного из тридцати атоллов Каролинского архипелага, расположенного в западной части Тихого океана, в Микронезии) рациональное и эмоциональное в принципе не разделяются и «помещаются» во внутренности человека. Более того, у ифалукцев даже нет специального слова, обозначающего эмоции или чувства: слово niferash в их языке, именующее внутренние органы человека как анатомическое понятие, одновременно является и «вместилищем» всех мыслей, чувств, эмоций, желаний и потребностей ифалукцев. В африканском языке догон (Западная Африка, Республика Мали) роль, которую у нас играет сердце, отведена другому внутреннему органу – печени, что, конечно же, никоим образом не связано с какой-то спецификой анатомического устройства носителей этих языков. Так, прийти в ярость на языке догон буквально значит почувствовать печень, понравиться значит взять печень, успокоиться – опустить печень, получить удовольствие – подсластить печень и т.д.

Итак, любой конкретный человеческий язык отражает определенный способ восприятия и понимания мира, причем все носители данного языка разделяют (зачастую не отдавая в том себе отчета) эту своеобразную систему взглядов на окружающую неязыковую действительность, так как это особое мировидение заключено не только в семантике лексических единиц, но и в оформлении морфологических и синтаксических структур, в наличии тех или иных грамматических категорий и значений, в особенностях словообразовательных моделей языка и т.п. (всё это и входит в понятие языковой картины мира). Продемонстрируем это еще на одном, достаточно простом примере.

Ежедневно мы здороваемся друг с другом, используя устоявшиеся веками формулы приветствия и не задумываясь при этом об их содержании. Как мы это делаем? Оказывается, очень по-разному. Так, многие представители славянских языков, в том числе и русского, фактически желают собеседнику здоровья (здравствуйте по-русски, здрастуйте или здорові (здоровенькі) були по-украински, zdraveite по-болгарски, zdravo по-македонски и т.п.). Говорящие по-английски, приветствуя друг друга фразой How do you do?, на самом деле спрашивают Как ты делаешь?; французы, говоря Comment ça va?, интересуются тем, как это идёт; немецкое приветствие Wie geht es? означает Как идётся?; итальянцы же, здороваясь фразой Come sta?, выясняют, как стоишь. Ееврейское приветствие Shalom – это буквальное пожелание мира. Собственно мира всем желают и представители многих мусульманских народов, говоря друг другу Salaam alei-kun! (арабск.) или Salaam aleihum (азерб.) и др. Древние греки же, приветствуя друг друга, желали радости: именно так буквально переводится древнегреческое haire. По всей видимости, в славянской картине мира здоровье виделось как нечто, чрезвычайно важное, в картине мира евреев и арабов (что не удивительно, если вспомнить их историю и посмотреть на современную жизнь этих народов) самым главным представляется мир, в сознании англичан одно из центральных мест занимает работа, труд и т.п.

Само понятие языковая картина мира (но не термин, его именующий) восходит к идеям Вильгельма фон Гумбольдта (1767-1835), выдающегося немецкого филолога, философа и государственного деятеля. Рассматривая соотношение языка и мышления, Гумбольдт пришел к выводу, что мышление не просто зависит от языка вообще, а до определенной степени оно зависит от каждого конкретного языка. Ему, конечно же, были хорошо известны попытки создания универсальных знаковых систем, подобных тем, которыми располагает, например, математика. Гумбольдт не отрицает того, что некоторое число слов различных языков можно «привести к общему знаменателю», но в подавляющем большинстве случаев это невозможно: индивидуальность разных языков проявляется во всем – от алфавита до представлений о мире; огромное число понятий и грамматических особенностей одного языка зачастую не может быть сохранено при переводе на другой язык без их преобразования.

Познание и язык взаимоопределяют друг друга, и более того: по мнению Гумбольдта, языки являются не просто средством изображения уже познанной истины, а орудием открытия еще непознанного, и вообще язык – это «орган, формирующий мысль», он не просто средство общения, а еще и выражение духа и мировидения говорящего. Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем, поскольку разные языки дают нам разные способы мышления и восприятия окружающей нас действительности. Знаменитая метафора, предложенная в этой связи Гумбольдтом, – это метафора кругов: по его мнению, каждый язык описывает вокруг нации, которую он обслуживает, круг, выйти за пределы которого человек может лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка. Изучение чужого языка является поэтому приобретением новой точки зрения в уже сложившемся у данного индивида мировосприятии.

И всё это возможно потому, что язык человека представляет собой особый мир, который расположен между существующим независимо от нас внешним миром и тем внутренним миром, который заключен внутри нас. Этот тезис Гумбольдта, прозвучавший в 1806 г., через сто с небольшим лет превратится в важнейший неогумбольдтианский постулат о языке как промежуточном мире (Zwischenwelt).

Развитие ряда идей Гумбольдта, касающихся понятия языковой картины мира, было представлено в рамках американской этнолингвистики, прежде всего, в работах Э.Сепира и его ученика Б.Уорфа, известное сейчас как гипотеза лингвистической относительности. Эдвард Сепир (1884-1939) понимал язык как систему разнородных единиц, все компоненты которой связаны достаточно своеобразными отношениями. Эти отношения уникальны, как уникален и каждый конкретный язык, где всё устроено в соответствии с его собственными законами. Именно отсутствие возможности установления поэлементных соответствий между системами разных языков понималось Сепиром под лингвистической относительностью. Он для выражения этой идеи также использовал термин «несоизмеримость» языков: разные языковые системы не только различным образом фиксируют содержание культурно-исторического опыта народа-носителя языка, но и предоставляют всем говорящим на данном языке своеобразные, не совпадающие с другими, пути освоения неязыковой действительности и способы ее восприятия.

Как полагает Сепир, язык и мышление связаны неразрывной связью, они в некотором смысле составляют одно и то же. И хотя внутреннее содержание всех языков, по его мнению, одинаково, внешняя их форма разнообразна до бесконечности, поскольку эта форма воплощает в себе коллективное искусство мышления. Культуру ученый определяет как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают. Каждый язык несет в себе некую интуитивную регистрацию опыта, а особое строение каждого языка и есть специфическое «как» этой нашей регистрации опыта.

Чрезвычайно важна роль языка в качестве руководящего начала в научном изучении культуры, поскольку система культурных стереотипов всякой цивилизации упорядочивается с помощью языка, обслуживающего данную цивилизацию. Более того, язык понимается Сепиром как своеобразный путеводитель в социальной действительности, так как он существенно влияет на наше представление о социальных процессах и проблемах. «Люди живут не только в материальном мире и не только в мире социальном, как это принято думать: в значительной степени они все находятся во власти того конкретного языка, который стал средством выражения в данном обществе. Представление о том, что человек ориентируется во внешнем мире, по существу, без помощи языка и что язык является всего лишь случайным средством решения специфических задач мышления и коммуникации, – это всего лишь иллюзия. В действительности же «реальный мир» в значительной мере неосознанно строится на основе языковых привычек той или иной социальной группы. Два разных языка никогда не бывают столь схожими, чтобы их можно было считать средством выражения одной и той же социальной действительности. Миры, в которых живут различные общества, – это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками. <…> Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества».

Термин принцип лингвистической относительности (по аналогии с принципом относительности А.Эйнштейна) был введён Бенджаменом Уорфом (1897-1941): «Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы – участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного речевого коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка.<…> Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем» .

Уорф является родоначальником исследований, посвященных месту и роли языковых метафор в концептуализации действительности. Именно он впервые обратил внимание на то, что переносное значение слова может не только оказывать влияние на то, как функционирует в речи его первоначальное значение, но оно даже определяет в некоторых ситуациях поведение носителей языка. В современной лингвистике изучение метафорических значений слов оказалось весьма актуальным и продуктивным занятием. В первую очередь следует назвать исследования, проводившиеся Джорджем Лакоффом и Марком Джонсоном, начиная с 1980-х годов, которые убедительно показали, что языковые метафоры играют важную роль не только в поэтическом языке, но и структурируют наше обыденное мировосприятие и мышление. Возникла так называемая когнитивная теория метафоры, получившая широкую известность и популярность за пределами собственно лингвистики. В знаменитой книге «Метафоры, которыми мы живем», была обоснована точка зрения, согласно которой метафора представляет собой важнейший механизм освоения мира человеческим мышлением и играет существенную роль в формировании понятийной системы человека и структуры естественного языка.

Собственно термин языковая картина мира (Weltbild der Sprache) был введен в научный обиход немецким лингвистом Йоханном Лео Вайсгербером (1899-1985) в 30-е гг. XX века. В статье «Связь между родным языком, мышлением и действием» Л.Вайсгербер писал, что «словарный запас конкретного языка включает в целом вместе с совокупностью языковых знаков также и совокупность понятийных мыслительных средств, которыми располагает языковое сообщество; и по мере того, как каждый носитель языка изучает этот словарь, все члены языкового сообщества овладевают этими мыслительными средствами; в этом смысле можно сказать, что возможность родного языка состоит в том, что он содержит в своих понятиях и формах мышления определенную картину мира и передает ее всем членам языкового сообщества». В более поздних работах картина мира вписывается Вайсгербером не только в словарный состав, но в содержательную сторону языка в целом, включая в себя не только лексическую семантику, но и семантику грамматических форм и категорий, морфологических и синтаксических структур.

Вайсгербер допускал относительную свободу человеческого сознания от языковой картины мира, но в её же собственных рамках, т.е. своеобразие той или иной личности будет ограничено национальной спецификой языковой картины мира: так, немец не сможет увидеть мир таким, каким увидит его из своего «окна» русский или индус. Вайсгербер говорит о том, что мы имеем дело с вторжением родного языка в наши воззрения: даже там, где наш личный опыт мог бы показать нам нечто иное, мы остаемся верны тому мировоззрению, которое передано нам родным языком. При этом, считает Вайсгербер, язык влияет не только на то, как мы понимаем предметы, но и определяет, какие предметы мы подвергаем определенной понятийной переработке.

В середине 30-х гг. Вайсгербер важнейшим методом изучения картины мира признает полевое исследование, при этом он опирается на принцип взаимного ограничения элементов поля, сформулированный Й.Триром. Словесное поле (Wortfeld) – это группа слов, использующихся для описания определенной сферы жизни или определенной смысловой, понятийной, сферы. Оно, по мнению Вайсгербера, существует как единое целое, потому и значения отдельных слов, в него входящих, определяются структурой поля и местом каждого его компонента в этой структуре. Структура же самого поля определяется семантической структурой конкретного языка, имеющего свой взгляд на объективно существующую неязыковую действительность. При описании семантических полей того или иного языка чрезвычайно важно обращать внимание на то, какие поля выглядят в этом языке наиболее богато и разнообразно: ведь семантическое поле – это некий фрагмент из промежуточного мира родного языка. Вайсгербер создает классификацию полей, разграничивая их как с точки зрения описываемой ими сферы действительности, так и с учетом степени активности языка в их формировании.

В качестве примера конкретного семантического поля немецкого языка рассмотрим поле глаголов со значением «умирать». Этот пример довольно часто приводится в ряде работ самого ученого. Это поле (как его представляет Вайсгербер) состоит из четырех кругов: внутрь первого из них помещено общее содержание всех этих глаголов – прекращение жизни (Aufhören des Lebens); второй круг содержит три глагола, выражающих это содержание применительно к людям (sterben), животным (verenden) и растениям (eingehen); третий круг расширяет и уточняет каждую из этих частных сфер с точки зрения способа прекращения жизни (для растений – fallen, erfrieren, для животных – verhungern, unkommen, для людей – zugrunde gehen, erliegen и др.); наконец, четвертый круг содержит стилистические варианты основного содержания поля: ableben, einschlummern, entschlafen, hinűbergehen, heimgehen (для высокого стиля) и verrecken, abkratzen, verröcheln, erlöschen, verscheiden (для низкого или достаточно нейтрального словоупотребления) .

Таким образом, языковая картина мира отражается прежде всего в словаре. Главную предметную основу для неё создает природа (почва, климат, географические условия, растительный и животный мир и т.п.), те или иные исторические события. Так, например, швейцарско-немецкий диалект обнаруживает поразительное разнообразие слов для обозначения специфических аспектов гор, причем эти слова в основном не имеют соответствующих аналогов в литературном немецком языке. При этом речь идет не просто о синонимическом богатстве, а о совершенно определенном и очень своеобразном понимании некоторых аспектов горного ландшафта.

В ряде случаев такое специфическое видение и представление природных явлений, растительного и животного мира, какое нам дает тот или иной язык в семантике отдельных слов, не совпадает с научными классификациями или даже им противоречит. В частности, и в русском, и в немецком языках есть такие слова (и соответственно обозначаемые ими понятия), как сорняк (нем. Unkraut), ягода (нем. Beere), фрукты (нем. Obst), овощи (нем. Gemüse) и др. Причем, многие подобного рода слова, вполне определенно представленные в нашем сознании и часто употребляющиеся в быту, даже «старше» соответствующих ботанических терминов. На самом же деле подобные феномены в природе просто не существуют, некоторые из них не могли природой даже «замышляться»: на основе критериев, установленных и предлагаемых в ботанике, невозможно выделить некоторое подмножество растений, именуемых сорными травами, или сорняками. Данное понятие очевидно является результатом человеческого суждения: мы относим ряд растений к этой категории на основе их непригодности, ненужности и даже вредности для нас. Понятия фруктов и овощей – скорее кулинарные или пищевые, а не научные, они никак не соотносятся со структурной морфологической классификацией растительного мира. Понятие ягода, напротив, представлено в ботанике, но объем его (как научного понятия) не совпадает с нашим бытовым представлением о данном объекте: далеко не все плоды, что мы называем ягодами, таковыми, строго говоря, являются (например, вишня, клубника, малина, ежевика не ягоды с научной точки зрения, а костянки) – это с одной стороны; а с другой стороны, есть «реальные» ягоды, которые мы этим словом не привыкли обозначать (например, арбуз, помидор или огурец).

Многие природные явления не только видятся языками «неправильно» (т.е. в соответствующей отрасли научного знания таких явлений либо нет, либо они понимаются по-другому), но еще и при этом разные языки видят это по-разному: так, в частности, немецкий язык не видит различий между земляникой и клубникой, вишней и черешней, тучей и облаком, как русский – т.е. в немецком для этих случаев «предусмотрено» по одному слову, а не по паре, как у нас.

Естественно, подобные наивные представления о природе, зафиксированные в лексических единицах языка, не остаются неизменными и стабильными, а меняются с течением времени. Так, по данным Л. Вайсгербера, многие слова, относящиеся к животному царству, обладали в средневерхненемецком иными значениями, нежели те, какими они обладают в современном немецком. Раньше слово tier не было общим обозначением для всего животного мира, как сейчас, а означало только четвероногих диких зверей; средневерхненемецкое wurm, в отличие от современного Wurm ‘червь’, включало в себя также змей, драконов, пауков и гусениц; средневерхненемецкое vogel, помимо птиц, называло и пчел, и бабочек, и даже мух. В целом же, средневерхненемецкая классификация животного мира выглядела примерно так: с одной стороны, выделялись домашние животные – vihe, с другой – дикие, подразделяющиеся на 4 класса в зависимости от их способа передвижения (tier ‘бегающее животное’, vogel ‘летающее животное’, wurm ‘ползающее животное’, visch ‘плавающее животное’). Эта в своем роде вполне логичная и стройная картина совершенно не совпадает ни с зоологическими классификациями, ни с тем, что мы имеем в современном немецком языке.

В истории российской лингвофилософской мысли идеи о языке как орудии мышления и познания мира, сформулированные впервые В.Гумбольдтом, стали популярны после издания книги «Мысль и язык» Александра Афанасьевича Потебни (1835-1891). Соотношение языка и мышления Потебня представляет таким образом: мысль существует независимо от языка, поскольку наряду с вербальным есть и невербальное мышление. Так, по его мнению, ребенок до определенного возраста не говорит, но в некотором смысле думает, т.е. воспринимает чувственные образы, вспоминает их и даже отчасти обобщает; творческая мысль живописца, скульптора или музыканта совершается без слов – т.е. область языка далеко не всегда совпадает с областью мысли. В целом же, несомненно, язык является средством объективации мысли.

Потебня также, вслед за Гумбольдтом, оперирует понятием духа, но дух у него понимается несколько иначе – как сознательная умственная деятельность, предполагающая понятия, которые образуются только посредством слова. И, конечно же, язык не тождествен духу народа.

Язык представляется средством, или орудием, всякой другой человеческой деятельности. При этом язык – нечто большее, чем внешнее орудие, и его значение для познания скорее сходно со значением таких органов чувственного восприятия, как глаз или ухо. В процессе наблюдения за отечественным и чужими языками и обобщения полученных данных Потебня приходит к выводу, что путь, по которому направляется мысль человека, определяется его отечественным языком. А различные языки – это и глубоко различные системы приемов мышления. Поэтому универсальный, или общечеловеческий язык был бы лишь понижением уровня мысли. К универсальным свойствам языков Потебня относит только их членораздельность (с точки зрения их внешней стороны, т.е. звуков) и то, что все они суть системы символов, служащих мысли (с точки зрения их внутренней стороны). Все же остальные их свойства индивидуальные, а не общечеловеческие. Так, например, нет ни одной грамматической или лексической категории, которая была бы обязательной для всех языков мира. Как считает Потебня, язык есть тоже форма мысли, но такая, которая ни в чем, кроме самого языка, не встречается, причем, подобно В.Гумбольдту, А.А.Потебня утверждает, что «язык есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать ее, что он не отражение сложившегося миросозерцания, а слагающая его деятельность» .

Слово дает не только сознание мысли, но и другое – что мысль, как и сопровождающие её звуки, существует не только в говорящем, но и в понимающем. Слово предстает в этой связи как «известная форма мысли, как бы застекленная рамка, определяющая круг наблюдений и известным образом окрашивающая наблюдаемое» . В целом же, слово – это наиболее явственный для сознания указатель на совершившийся акт познания. Характерно, что, по мнению Потебни, «слово выражает не всё содержание понятия, а только один из признаков, именно тот, который представляется народному воззрению важнейшим» .

Слово может иметь внутреннюю форму, которая определяется как отношение содержания мысли к сознанию. Она показывает, как представляется человеку его собственная мысль. Только этим и можно объяснить, почему в одном и том же языке может быть несколько слов для обозначения одного и того же предмета и, наоборот, одно слово может обозначать разнородные предметы. В соответствии с этим у слова выделяется два содержания: объективное и субъективное. Под первым понимается ближайшее этимологическое значение данного слова, включающее в себя только один признак, – например, содержание слова стол как простланного, постеленного. Второе же способно включать в себя множество признаков – например, образ стола вообще. При этом внутренняя форма есть не просто какой-то один из признаков образа, связанного со словом, а центр образа, один из его признаков, преобладающий над всеми остальными, что особенно очевидно в словах с прозрачной этимологией. Внутренняя форма слова, произнесенного говорящим, считает Потебня, дает направление мысли слушающего, не назначая при этом пределов его пониманию слова.

В языке бывают слова с «живым представлением» (т.е. с понятной современным носителям языка внутренней формой, например: подоконник, синяк, темница, черника) и слова с «забытым представлением» (т.е. с утраченной, потерянной на данный момент внутренней формой: кольцо, стрелять, обруч, образ). Это заложено в самой сущности слова, в том, чем это слово живет: рано или поздно представление, служащее центром значения, забывается или становится неважным, несущественным для носителей данного языка. Так, мы больше не соотносим друг с другом такие слова, как мешок и мех, окно и око, жир и жить, медведь и мёд, обидеть и видеть, хотя исторически и этимологически они были тесно связаны.

При этом, отмечают независимо друг от друга как Потебня, так и Вайсгербер, в ряде случаев наблюдаются явления и другого рода: люди часто начинают верить в то, что можно извлечь взаимосвязь вещей из сходства звуковых форм имен, их называющих. Отсюда возникает особый тип человеческого поведения – обусловленный народной этимологией, что также представляет собой феномен воздействия того или иного языка на его носителей. Возникает языковая мистика, языковая магия, народ начинает смотреть на слово «как на правду и сущность» (Потебня), формируется довольно распространенное (возможно, даже универсальное) явление – «языковой реализм» (Вайсгербер). Языковой реализм предполагает безграничное доверие к языку со стороны его носителей, наивную уверенность в том, что похожесть внешней и внутренней формы слов влечет за собой и похожесть вещей и явлений, именуемых этими словами. Картина мира родного языка воспринимается его носителями как естественная данность и превращается в основу мыслительной деятельности.

В чем же конкретно может проявляться так называемый языковой реализм? Самое простое и довольно распространенное в этом плане явление – это народная этимология, которая, в отличие от научной этимологии, основывается не на законах развития языка, а на случайном сходстве слов. При этом может наблюдаться переделка и переосмысление заимствованного (реже – родного) слова по образцу близкого ему по звучанию слова родного языка, но которое отличается от него по происхождению. Так, например, возникли в народе слова мухляж вместо муляж, гульвар вместо бульвар и др. Видоизменяя таким образом слова, полностью или частично их переосмысляя за счет произвольного сближения с близкими по звучанию словами, говорящие стремятся немотивированное для них слово сделать мотивированным и понятным. Иногда такая ошибочная этимология слова может закрепиться и сохраниться в языке, причем, не только в разговорном или просторечном его варианте, но и в литературном. Таково, например, исторически неправильное современное понимание слова свидетель в смысле «очевидец», связывающее его с глаголом видеть, вместо правильного исконного значения «осведомленный человек», т.к. раньше это слово выглядело как съвѣдѣтель и было связано с глаголом ведать, т.е. знать.

Подобного рода «этимологии» нередко встречаются в детской речи. Огромное количество забавных примеров приводится, в частности, в известной книге К.И.Чуковского «От двух до пяти». Ребенок, осваивая и осмысливая «взрослые» слова, часто хочет, чтобы в звуке был смысл, чтобы в слове был понятный ему и при этом вполне конкретный и даже осязаемый образ, и если этого образа нет, ребенок «исправляет» эту ошибку, создавая своё новое слово. Так, трехлетняя Мура, дочь Чуковского, попросила для мамы мазелин: так она «оживила» мертвое для неё слово вазелин (это мазь, которой что-то мажут). Другой ребенок по той же причине назвал губную помаду губной помазой. Двухлетний Кирилл, будучи больным, просил, чтоб ему положили на голову холодный мокресс, т.е. компресс. Малыш Буся (что характерно, как и некоторые другие дети) метко обозвал бормашину зубного врача больмашиной. Как справедливо отмечает К.И.Чуковский, если ребенку незаметно прямое соответствие между функцией предмета и его названием, он исправляет название, подчеркивая в этом слове ту функцию предмета, которую он успел разглядеть. Именно так появились детские колоток вместо молоток (так как им колотят), вертилятор вместо вентилятор (он ведь вертится), копатка вместо лопатка (ею копают), песковатор вместо экскаватор (потому что он выгребает песок) и т.п.

Еще одно проявление языкового реализма – это случаи определенного и весьма своеобразного типа поведения носителей языка, обусловленного народной этимологией, это даже особые обычаи и народные приметы, с первого взгляда кажущиеся необъяснимыми и странными, но также связанные с народно-этимологическими токованиями имен. Под влиянием внешней или внутренней формы слов в народе создаются мифы, определяющие поведение простых людей.

Покажем это на конкретных примерах. На Руси 12 (по новому стилю - 25) апреля празднуется день Василия Парийского. Преподобный Василий, епископ парийской епархии в Малой Азии, жил в VIII веке. Когда возникла иконоборческая ересь, он выступил за почитание святых икон, за что претерпел гонения, голод и нищету. Посмотрим теперь, какие приметы связаны в народе с днем, когда вспоминают Василия Парийского:

На день святого Василия весна землю парит.

На Василия земля парится, как старуха в бане.

Если солнышко действительно землю парит, то год будет плодородным.

Очевидно, что все эти утверждения обусловлены созвучием слов Парийский и парить, за которым в реальности ничего не стоит, кроме похожести внешнего облика.

23 мая – день апостола Симона Зилота. Симон получил имя Зилота, т.е. ревнителя, приверженца, т.к. проповедовал учение Христа в ряде стран и принял мученическую смерть. Греческое имя Зилот было непонятно простым носителям русского языка, но в народе полагали, что между словами Зилот и золото есть какая-то связь. Потому на апостола Симона Зилота ищут клады в уверенности, что он помогает кладоискателям. Есть еще один обычай, связанный с этим днем: 23 мая крестьяне ходят по лесам и полянам, собирая разные травы, которым и приписывают особенную целебную силу, т.к. по-украински имя апостола напоминает слово зілля, т.е. лекарственные травы.

Такого рода примеры языкового реализма (но уже касающиеся носителей немецкого языка) есть и в работах Вайсгербера. Святой Августин, епископ Гиппо в Северной Африке, является одной из самых известных персон католической Церкви. Одновременно в народе его считали защитником от глазных болезней, т.к. начало его имени созвучно немецкому Auge ‘глаз’. А святой мученик Валентин считается у католиков покровителем не только влюбленных, но и эпилептиков. Раньше эпилепсию даже называли болезнью святого Валентина. Дело в том, что латинское имя Valentinus оказалось созвучным с древневерхненемецким глаголом fallan ‘падать’ (ср. с современным английским глаголом to fall или немецким fallend hin ‘падающий на землю’; старинное русское название эпилепсии падучая также образовано от глагола падать). Из-за этого созвучия сначала у германоязычных народов, а потом и у их соседей Валентин стал почитаться как целитель эпилепсии.

Эти явления можно назвать этимологической магией, которая состоит в том, что созвучные слова сближаются в сознании говорящих на том или ином языке, и возникающая связь отражается в фольклоре и обрядах, связанных с объектами, которые этими словами обозначаются.

Поскольку речь зашла о народном мировидении и миропонимании, отраженном и заключенном в том или ином языке, необходимо отдельно остановиться на вопросе о том, как соотносится картина мира, сложившаяся в каком-либо литературном языке, с разными модификациями этой картины, представленными в разных языковых диалектах. Тем более что многие языковеды, занимавшиеся этой проблематикой, придавали особое значение диалектным данным. Так, в частности, Л.Вайсгербер называл диалект «языковым освоением родных мест» и считал, что именно диалект участвует в процессе духовного созидания родины. Именно диалекты и говоры часто сохраняют то, что утрачивает нормированный литературный язык, – как отдельные языковые единицы, особые грамматические формы или неожиданные синтаксические структуры, так и особое мироощущение, зафиксированное, например, в семантике слов и вообще в наличии отдельных слов, отсутствующих в литературном языке.

Покажем это на конкретных примерах, отобранных нами главным образом по «Словарю русских народных говоров» с привлечением «Словаря метеорологической лексики орловских говоров», а также «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.Даля .

Возьмем вначале слово дождь и посмотрим соответствующую словарную статью в словаре В.И.Даля. После определения этого понятия (по Далю, дождь – это вода в каплях или струями из облаков) мы обнаружим целый ряд синонимов существительного дождь, существовавших в середине XIX века в русском языке. Итак, помимо нейтрального дождь, в русском языке были существительные ливень (имеющееся и сейчас в литературном языке для обозначения самого сильного дождя), косохлестъ, подстега (косой дождь по направлению сильного ветра), сѣночной (дождь во время сенокоса), лепень (дождь со снегом), ситникъ, ситничекъ (самый мелкий дождь), морось, бусъ (мельчайший дождь, словно мокрая пыль), а также дряпня, хижа, чичеръ, бусиха, бусенецъ, ситовникъ, ситяга, морохъ, морокъ, лежица, ситивень, ситуха . К сожалению, в словаре В.И.Даля не всегда указано, в каком диалекте или говоре встречается то или иное слово, а также не для всех слов указаны их значения. Потому в нашем случае достаточно сложно оценить, где (в общелитературном языке или в диалекте; если в диалекте, то конкретно в каком) и как представлялся дождь как природное явление: какие особые оттенки значений (по сравнению с нейтральным существительным дождь) несли в себе другие именования этого понятия, сколько их было и т.п.

Посмотрим теперь на отобранные нами синонимы дождя по данным современных вышеназванных словарей русских говоров. Ниже приводятся две разные картины, которые встречаются в орловских и архангельских говорах. Фактически это две своеобразные классификации дождя, данные в значениях отдельных слов.

В орловской интерпретации дождь бывает такой:

сильный дождь – водопад, дожжевина;

мелкий моросящий дождь – ситник;

мелкий дождь с сильным встречным ветром – сечка;

затяжной дождь – обкладень;

кратковременный дождь – пугач;

наклонный дождь – косохлест;

дождь с громом – громовник;

грибной дождь – припарок;

дождь в конце июня – огуречник;

дождь во время сенокоса – сеночной.

Архангельские говоры несколько по-иному представляют это же атмосферное явление:

сильный дождь – заливень;

мелкий моросящий дождь – бусик;

затяжной дождь – дожжовье, обложник, окладник;

теплый дождь – парун;

теплый грибной дождь – обабочник;

мелкий продолжительный дождь во время сенокоса – погной.

Как видно, и представления о разных видах дождя здесь не совпадают, и названия для совпадающих разновидностей дождя в каждом случае свои. Ничего подобного нет в той картине, которую нам показывает современный литературный русский язык. Конечно же, указать на тот или иной тип дождя можно, добавляя соответствующие прилагательные (крупный, мелкий, обложной, проливной, тропический, частый, грибной и т.п.), глаголы (дождь может идти, моросить, накрапывать, лить, сеять, припускать и т.п.) или даже используя устоявшиеся фразеологические сочетания (льет как из ведра; льет, словно небо прорвало и др.). Но при этом важно, что в литературном языке отсутствуют отдельные существительные, именующие те понятия, которые представлены в говорах или диалектах.

Это утверждение справедливо и для огромного числа других понятий и слов, их называющих. Так, ветер в орловских говорах бывает:

очень сильный – ветрило, ветродуй;

сильный с дождем и градом – валун;

встречный – противник;

попутный – поветер;

теплый летний – летник;

холодный осенний – осенник;

северный – северка;

восточный – астраханец.

Архангельские же говоры дают чуть более разнообразную картину для описания видов ветра:

очень сильный – ветренье;

сильный осенний – листодер;

встречный – противняк;

холодный – свежун;

ветер с моря – моряник;

ветер с берега – побережник;

северный – засиверка, сиверко;

северо-восточный – полуночник, заморозник;

южный – обеденник;

западный – западник.

Как видно, эти классификации ветра, данные в значениях слов вышеназванных говоров, не всегда последовательны и логичны (например, почему в первом случае есть свои названия для северного и восточного ветра, а для западного и южного нет), проведены на разных основаниях (учитывается то направление ветра, то его сила, то время года, в которое он наблюдается и т.п.), выделяют разное число видов ветра, причем в некоторых случаях есть и синонимы. Если же попытаться дать сводную картину по самым разным говорам русского языка, то она окажется еще более пестрой и многообразной. Помимо названных ранее видов ветра другие русские говоры (в дополнение к ним) выделяют:

сильный ветер – ветриво (донск.), ветрогон (краснодарск.), ветренье (онежск.), вихряк (свердл.);

легкий ветер – ветрик (смоленск.), ветрышек (олонецк.), наветерь (псковск., тверск.);

холодный пронизывающий ветер – сибиряк (астраханск.), стужай (владимирск.);

холодный зимний ветер – зимарь (новгородск.);

вихрь – кружень (владимирск.);

боковой ветер – колышень (сибирск.);

ветер с озера – озерик (беломорск.);

ветер, относящий лед от берега моря, - относ (каспийск.);

ветер с верховьев реки – верховик (иркутск., сибирск.);

ветер с низовьев реки – низовик (красноярск.), низовец (говоры Коми), низовка (иркутск., сибирск., донск.);

ветер, дующий параллельно берегу, - косыня (владимирск., волжск.);

утренний ветер – зарник (енисейск.);

ветер, приносящий дождевые тучи, - мокряк (новгородск., псковск.).

Не вызывает сомнения тот факт, что в семантической структуре слова содержится информация о системе ценностей народа – носителя языка, хранится культурный и исторический опыт народа, передается его особое «прочтение» окружающего мира. Как можно увидеть из приведенных примеров, всё это по-разному представлено в языке в разные периоды его истории и, тем более, по-разному представлено в разных диалектах и в общенациональном языке. Следует также четко осознавать, что слово является не только носителем знания, но и его источником, а потому и играет такую важную роль в познании и описании неязыковой действительности. Без его участия невозможна сама познавательная деятельность, не может осуществиться процесс мышления, и именно в этом смысле язык действительно является посредником между внутренним миром человека и объективно существующей реальностью.

В настоящее время во многих исследованиях особый акцент делается на реконструкции именно цельной картины мира русского языка. Для этого, безусловно, необходимо сначала реконструировать её отдельные фрагменты по данным как лексических, так и грамматических категорий, единиц и их значений. Каковы же те приемы, с помощью которых можно реконструировать картину мира (как цельную, так и её отдельные фрагменты) какого-либо языка?

Один из наиболее популярных в наше время приемов такой реконструкции основан на анализе метафорической сочетаемости слов с абстрактным значением, т.к. языковая метафора – это одна из возможностей выражения своеобразного миропонимания, заключенного в том или ином языке: картина мира не может быть стенограммой знаний о мире или его зеркальным отображением, это всегда взгляд на него сквозь какую-то призму. Метафоры часто и играют роль этой призмы, т.к. они позволяют рассмотреть нечто познаваемое сейчас через уже познанное ранее, окрашивая при этом реальность специфическим образом.

Покажем на конкретном примере, как практически реализуется данный метод при описании семантики слов русского языка . Если мы посмотрим на значения русских слов горе и отчаянье, размышления и воспоминания, то увидим, что все понятия, именуемые вышеприведенными словами, связаны с образом водоема: горе и отчаянье могут быть глубокими, а в размышления и воспоминания человек может погружаться. По всей видимости, вышеназванные внутренние состояния делают для человека недоступным контакт с внешним миром – так, как будто бы он находится на дне какого-то водоема. Размышления и воспоминания также могут, подобно волне, нахлынуть, но возникающая здесь водная стихия представляет уже другие свойства этих состояний человека: теперь подчеркивается идея внезапности их наступления и идея полной поглощенности человека ими.

Изучение языковых метафор позволяет выяснить, в какой степени метафоры в том или ином языке являются выражением культурных предпочтений данного социума и соответственно отражают определенную языковую картину мира, а в какой – воплощают универсальные психосоматические качества человека.

Другой, не менее популярный и успешный, прием реконструкции картины мира связан с изучением и описанием так называемых лингвоспецифичных слов, т.е. слов, не переводимых на другие языки или же имеющих достаточно условные или приблизительные аналоги в других языках. При исследовании таких слов обнаруживаются заключающиеся в них специфические для данного языка понятия, или концепты, являющиеся в большинстве случаев ключевыми для понимания той или иной картины мира. Они часто заключают в себе разного рода стереотипы языкового, национального и культурного сознания.

Многие исследователи, работающие в этом направлении, предпочитают использовать прием сравнения, поскольку именно в сравнении с другими языками наиболее ярко видна специфика «семантической Вселенной» (выражение Анны Вежбицкой) интересующего нас языка. А. Вежбицкая справедливо полагает, что есть понятия, являющиеся фундаментальными для модели одного языкового мира и при этом вообще отсутствующие в другом, а потому есть такие мысли, которые могут быть «подуманы» именно на этом языке, и даже есть такие чувства, которые могут быть испытаны только в рамках этого языкового сознания, и никакому другому сознанию и менталитету они не могут быть свойственны. Так, если взять русский концепт души, то можно обнаружить его непохожесть на соответствующий концепт, представленный в англоязычном мире. Для русских душа является вместилищем основных, если не всех, событий эмоциональной жизни и вообще – всего внутреннего мира человека: чувства, эмоции, мысли, желания, знания, мыслительные и речевые способности – всё это (а на самом деле это то, что обычно бывает скрыто от людских глаз) сосредоточено в русской душе. Душа – это и есть наша личность. И если наша душа обычно вступает в нашем сознании в оппозицию с телом, то в англосаксонском мире тело обычно контрастирует с сознанием (mind), а не с душой. Такое миропонимание проявляется в том числе при переводе ряда русских слов на английский язык: в частности, русское душевнобольной переводится как mentally ill.

Итак, имеющееся в английском языке слово mind является, по мнению Вежбицкой, столь же ключевым для англосаксонского языкового сознания, как душа – для русского, и именно оно, включая в себя сферу интеллектуального, входит в оппозицию с телом. Что же касается роли интеллекта в русской языковой картине мира, то весьма показательно то, что в ней этот концепт – концепт интеллекта, сознания, разума – по своей значимости в принципе не сопоставим с душой: это проявляется, например, в богатстве метафорики и идиоматики, связанной с концептом души. В целом же, душа и тело в русской (и вообще в христианской) культуре противопоставлены друг другу как высокое и низкое .

Исследование лингвоспецифичных слов в их взаимосвязи позволяет уже сегодня восстанавливать достаточно существенные фрагменты русской картины мира, которые сформированы системой ключевых концептов и связывающих их инвариантных ключевых идей. Так, А.А.Зализняк, И.Б. Левонтина и А.Д.Шмелёв выделяют следующие ключевые идеи, или сквозные мотивы, русской языковой картины мира (конечно же, этот список не является исчерпывающим, а предполагает возможность его дополнения и расширения):

1) идея непредсказуемости мира (она заключена в целом ряде русских слов и выражений, напр.: а вдруг, на всякий случай, если что, авось; собираюсь, постараюсь; угораздило; добраться; счастье);

2) представление, что главное – собраться, т.е. чтобы что-то реализовать, необходимо прежде всего мобилизовать свои внутренние ресурсы, а это зачастую бывает трудно и непросто сделать (собираться, заодно );

3) представление о том, что человеку может быть хорошо внутри, если у него есть большое пространство снаружи; причем, если это пространство необжитое, оно скорее создает внутренний дискомфорт (удаль, воля, раздолье, размах, ширь, широта души, маяться, неприкаянный, добираться);

4) внимание к нюансам человеческих отношений (общение, отношения, попрек, обида, родной, разлука, соскучиться);

5) идея справедливости (справедливость, правда, обида);

6) оппозиция «высокое - низкое» (быт – бытие, истина – правда, долг – обязанность, добро – благо, радость – удовольствие);

7) идея, что хорошо, когда другие люди знают, что человек чувствует (искренний, хохотать, душа нараспашку);

8) идея, что плохо, когда человек действует из соображений практической выгоды (расчетливый, мелочный, удаль, размах).

Как уже отмечалось выше, особое мировидение заключено не только в значениях лексических единиц, но и воплощено в грамматическом устройстве языка. Посмотрим теперь с такой точки зрения на некоторые грамматические категории: как они представлены в разных языках, какие типы значений выражают и насколько своеобразно в них отражается неязыковая действительность.

В целом ряде языков Кавказа, Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки, Австралии у имён существительных встречается такая категория, как именной класс. Все существительные в этих языках делятся на группы, или разряды, в зависимости от самых разных факторов:

логической соотнесенности обозначаемого ими понятия (могут выделяться классы людей, животных, растений, вещей и т.п.);

величины называемых ими предметов (бывают уменьшительные, увеличительные классы);

количества (есть классы единичных предметов, парных предметов, классы собирательных имён и т.п.);

формы или конфигурации (могут встречаться классы слов, называющих продолговатые, плоские, круглые предметы) и т.д.

Количество таких именных классов может колебаться от двух до нескольких десятков в зависимости от того, в каком языке они представлены. Так, в отдельных нахско-дагестанских языках наблюдается следующая картина. Выделяется три грамматических класса имён по достаточно простому и вполне логичному принципу: люди, которые различаются по полу, и всё остальное (при этом неважно, будут ли это живые существа, предметы или какие-то абстрактные понятия). Так, например, в кубачинском диалекте даргинского языка это деление существительных на три класса проявляется в согласовании имён, занимающих позицию подлежащего в предложении, с глаголами-сказуемыми при помощи специальных префиксов – показателей именных классов: если имя-подлежащее относится к классу, называющему людей мужского пола, глагол-сказуемое приобретает префиксальный показатель в-; если подлежащее обозначает лицо женского пола, глагол помечается префиксом й-; если же подлежащее называет не человека, глагол приобретает префикс б-.

В китайском языке деление на именные классы проявляется в другого рода грамматических конструкциях – в сочетаниях существительных с числительными. Говоря по-китайски, нельзя напрямую соединять эти два слова в речи: между ними обязательно должно стать специальное счётное слово, или нумератив. Причём, выбор того или иного счётного слова определяется принадлежностью имени существительного к тому или иному классу, т.е. по-китайски невозможно сказать два человека, три коровы, пять книг, а нужно произносить (условно) две персоны человека, три головы коровы, пять корешков книг. С европейской точки зрения, часто бывает совершенно непонятно, почему в один и тот же класс попали слова, обозначающие, например, ручки, сигареты, карандаши, шесты, куплеты песен, отряды солдат, колонны людей (все они сочетаются с одним счётным словом zhī "ветка"), в другом классе объединились названия членов семьи, свиньи, сосуды, колокола и ножи (они требуют при себе счётное слово kǒu "рот") и т.д. Иногда этому есть вполне рациональное объяснение (напр., словом shuāng "пара" считаются парные предметы, а словом zhāng "лист" - предметы, имеющие плоскую поверхность: столы, стены, письма, листы бумаги, лица или их части), иногда же это объяснить не могут даже носители языка (например, почему одним и тем же словом chǔ считаются и помещения для жилья, и опечатки или ошибки в тексте; или почему словом zūn считаются и статуи Будды, и пушки). Но в таком положении вещей нет ничего удивительного, поскольку мы также не можем объяснить, почему по-русски нож, стол, дом – мужского рода, а вилка, парта, хижина – женского. Просто в нашей картине мира они видятся так, а не иначе.

Может ли такое языковое вѝдение что-то значить для говорящих на данном языке? Безусловно, да. В ряде случаев оно может определять поведение и мировосприятие носителей этого языка и определённым образом даже корректировать направление их мышления. Так, несколько десятилетий тому назад американские психологи провели довольно простой, но убедительный эксперимент с маленькими детьми, говорившими на языке навахо (это один из многочисленных языков североамериканских индейцев), и с англоязычными детьми такого же возраста. Детям предъявлялись предметы разного цвета, разного размера и разной формы (например, красные, жёлтые, синие, зелёные палки, верёвки, шары, листы бумаги и т.п.) с тем, чтобы они распределили эти предметы по разным группам. Англоязычные дети учитывали главным образом фактор цвета, а дети племени навахо (где есть грамматическая категория именного класса), распределяя предметы по разным группам, прежде всего обращали внимание на их размер и форму. Таким образом, определённое мировосприятие, заложенное в грамматическом строе языка навахо и английского языка, управляло поведением и мышлением малышей, владевших тем или иным языком.

Если посмотреть на категорию числа, также можно увидеть ряд своеобразных способов восприятия мира, в ней заложенных. Дело здесь не только в том, что есть языки, где будет противопоставлено друг другу разное число граммем. Как известно, в большинстве языков мира встречается две граммемы – единственное и множественное число; в ряде древних языков (санскрите, древнегреческом, старославянском) и в некоторых современных языках (классическом арабском, корякском, саамском, самодийских и др.) было или есть три граммемы – единственное, двойственное и множественное число; в очень небольшом количестве языков мира, в добавление к предыдущим трём, встречается ещё и тройственное число (например, в некоторых папуасских языках); а в одном из австронезийских языков (сурсурунга) у личных местоимений есть даже четверное число. То есть, кто-то воспринимает как «много» то, что больше одного, кто-то – как то, что больше двух или трёх или даже четырёх. Уже в этом числовом противопоставлении проявляется разное мировидение. Но есть и более любопытные вещи. Так, в некоторых полинезийских, дагестанских, индейских языках встречается так называемое паукальное число (от латинского paucus "немногочисленный"), обозначающее некоторое небольшое количество предметов (максимум – до семи), противопоставленное единственному, множественному, а иногда и двойственному (например, в языке североамериканских индейцев хопи) числам. То есть, носители языка хопи считают примерно так: один, два, несколько (но немного), много.

Иногда встречаются весьма неожиданные употребления разных форм грамматического числа. Так, в венгерском языке парные (по своей природе) объекты могут употребляться в форме единственного числа: szem ‘пара глаз’ (ед.ч.), но fel szem ‘глаз’ буквально означает ‘полглаза’. Т.е. здесь за единицу счёта принимается пара. В бретонском языке показатель двойственного числа daou- может сочетаться с показателем множественного числа – où: lagad ‘(один) глаз’ - daoulagad ‘пара глаз’ - daoulagadoù ‘несколько пар глаз’. Видимо, в бретонском языке есть две грамматические категории – парности и множественности. Потому они и могут сочетаться в пределах одного и того же слова, не взаимоисключая друг друга. В некоторых языках (например, будухском, распространённом на территории Азербайджана) встречаются два варианта множественного числа – компактное (или точечное) и дистантное ( или дистрибутивное). Первое число в противоположность второму указывает на то, что некоторое множество объектов сосредоточено в одном месте или же функционирует как единое целое. Так, в будухском языке будут употребляться с разными окончаниями множественного числа пальцы одной руки и пальцы на разных руках или у разных людей; колёса одной машины или колёса разных машин и т.п.

Как видно, из вышеприведённых примеров, даже одни и те же грамматические категории разных языков показывают их носителям мир с разных точек зрения, позволяют видеть или не видеть какие-то особенности отдельных объектов или явлений неязыковой действительности, отождествлять их или, наоборот, различать. В этом (в том числе) и проявляется особое мировосприятие, заложенное в каждой конкретной языковой картине мира.

Изучение языковой картины мира оказывается в настоящее время актуальным и для решения задач перевода и общения, поскольку перевод осуществляется не просто с одного языка на другой язык, а с одной культуры – на другую. Даже понятие культуры речи трактуется теперь довольно широко: она понимается не только как соблюдение конкретных языковых норм, но и как способность говорящего корректно формулировать собственные мысли и адекватно интерпретировать речь собеседника, что в ряде случаев также требует знания и осознания специфики того или иного миропонимания, заключенного в языковых формах.

Понятие языковой картины мира играет немаловажную роль и в прикладных исследованиях, связанных с решением задач в рамках теорий искусственного интеллекта: сейчас стало понятно, что понимание компьютером естественного языка требует осмысления структурированных в этом языке знаний и представлений о мире, что связано зачастую не только с логическими рассуждениями или с большим объемом знаний и опыта, но и с наличием в каждом языке своеобразных метафор – не просто языковых, а метафор, представляющих собой формы мыслей и требующих правильных интерпретаций.

**Список литературы**

А.Д.Шмелёв. Дух, душа и тело в свете данных русского языка // А.А.Зализняк, И.Б.Левонтина, А.Д.Шмелёв. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005, стр. 148-149.

Впервые это особое мировидение было обнаружено американскими антропологами в 50-е гг. XX века. См.: М.Бейтс, Д.Эббот. Остров Ифалук. М., 1967.

См.: В.А.Плунгян. К описанию африканской «наивной картины мира» (локализация ощущений и понимание в языке догон) // Логический анализ естественного языка. Культурные концепты. М., 1991, стр.155-160.

Э.Сепир. Статус лингвистики как науки // Э.Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993, стр. 261.

Б.Уорф. Наука и языкознание // Зарубежная лингвистика. I. М., 1999, стр. 97-98.

Цит. по: О.А. Радченко. Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. М., 2006, стр. 235.

Данный пример приводится по вышеназванной книге О.А. Радченко, стр. 213.

А.А.Потебня. Мысль и язык // А.А.Потебня. Слово и миф. М., 1989, стр. 156.

А.А.Потебня. Из заметок по теории словесности // А.А.Потебня. Слово и миф. М., 1989, стр. 238.

А.А.Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии // А.А.Потебня. Слово и миф. М., 1989, стр. 285.

Словарь русских народных говоров. М.-Л., 1965-1997, т. 1-31;

Словарь метеорологической лексики орловских говоров. Орёл, 1996;

В.И.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989, т. 1-4.

В.И.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Том 1, стр. 452-453.

Пример взят из статьи Анны Зализняк «Языковая картина мира», которая представлена в электронной энциклопедии «Кругосвет»: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye\_nauki/lingvistika.

Есть целый ряд работ А.Вежбицкой, переведённых на русский язык, посвящённых данной проблематике:

А.Вежбицкая. Язык. Культура. Познание. М., 1996;

А.Вежбицкая. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999;

А.Вежбицкая. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001;

А.Вежбицкая. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М., 2001.

А.А.Зализняк, И.Б.Левонтина и А.Д.Шмелёв. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005, стр. 11.

Здесь и далее курсивом указаны типично русские концепты, иллюстрирующие, по мнению авторов, тот или иной сквозной мотив русской картины мира.

Более подробно об этом написано в книге: Д.Слобин, Дж.Грин. Психолингвистика. М., 1976, стр. 212-214.

Весьма любопытно то, что, по данным возрастной психологии, дети такого возраста в норме вначале начинают оперировать понятием цвета, нежели формы.